

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Издание второе.
исправленное и дополненное*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1982

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том десятый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1881—1883

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

1878—1883

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА

1982

Т $\frac{4702010200-332}{042(02)-82}$ Подписное

© Издательство «Наука», 1982 г.
Примечания

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1881—1883

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ — СВОИХ И ЧУЖИХ

Считаю нужным предпослать моим «Отрывкам» небольшое объяснение. Я избрал форму рассказа от собственного лица для большего удобства — и потому прошу читателя не принимать «я» рассказчика сплошь за личное «я» самого автора. На это намекает и самое заглавие отрывков: «Из воспоминаний — своих и чужих».

И. Т.

I СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

...Верстах в сорока от нашего села проживал много лет тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвардии сержант и довольно богатый помещик, Алексей Сергееч Телегин — в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда не выезжал, а потому и не посещал нас; но меня, раза два в год, посылали к нему на поклон — сперва с гувернером, а потом одного. Алексей Сергееч принимал меня всегда очень радушно — и я гащивал у него дня по три, по четыре. Зазнал я его уже стариком: в первый мой приезд мне, помнится, было лет двенадцать; а ему уже за семьдесят лет перевалило. Родился он еще при императрице Елизавете — в последний год ее царствования. Он жил один с своей женой, Маланьей Павловной; она была лет на десять моложе его. Двух дочерей он с ней прижил; но они уже давно вышли замуж и редко посещали Суходол; между ними и их родителями черная кошка пробежала, и Алексей Сергееч почти никогда не упоминал о них.

Вижу, как теперь, этот старинный, уж точно дворянский, степной дом. Одноэтажный, с громадным мезонином, построенный в начале нынешнего столетия из удивительно толстых сосновых бревен — такие бревна при-

возились тогда из-за жиздринских боров, их теперь и в помине нет! — он был очень обширен и вмещал множество комнат, довольно, правда, низких и темных: окна в стенах были прорублены маленькие, теплоты ради. Как водится (по-настоящему следует сказать: как водилось), службы, дворовые избы окружали господский дом со всех сторон — и сад к нему примыкал небольшой, но с хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и бессемянными грушами; на десять верст кругом тянулась плоская, жирно-черноземная степь. Никакого высокого предмета для глаза: ни дерева, ни даже колокольни; где-где разве торчит ветряная мельница с прорехами в крыльях; уж точно: Суходол! Внутри дома комнаты были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; несколько необычным являлся стоявший на окне залы верстовой столбик со следующими надписями: «Если ты 68 раз пройдешь вокруг сей залы — то сделаешь версту; если ты 87 раз пройдешь от крайнего угла гостиной до правого угла биллиарда — то сделаешь версту» — и т. п. Но пуще всего поражало в первый раз приехавшего гостя великое количество картин, развешанных по стенам, большей частью работы так называемых итальянских мастеров: всё какие-то старинные пейзажи да мифологические и религиозные сюжеты. Но так как все эти картины очень почернели и даже покособились, то в глаза били одни пятна телесного цвета — а не то волнистое красное драпери на незримом туловище, или арка, словно в воздухе висящая, или растрепанное дерево с голубой листвою, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с суповой чаши, взрезанный арбуз с черными семечками, чалма с пером над лошадиной головой — или вдруг высиживалась гигантская коричневая нога какого-то апостола, с мускулистой икрой и задранными кверху пальцами. В гостиной на почетном месте висел портрет императрицы Екатерины II во весь рост, копия с известного портрета Лампи, предмет особого поклонения, можно сказать, обожания хозяина. С потолков спускались стеклянные люстры в бронзовых оправах, очень маленькие и очень пыльные.

Сам Алексей Сергеич был приземистый, пузатенький старичок с одноцветным пухлым, но приятным лицом, с свалившимися губками и очень живыми глазками под высокими бровями. Он зачесывал на затылок свои редкие волосики: он только с 1812 года перестал пудриться. Ходил Алексей Сергеич постоянно в сером «реденготе» с тре-

мя воротниками, падавшими на плечи, полосатом жилете, замшевых штанах и темно-красных сафьянных сапожках с сердцевидными вырезами и кисточками наверху голенищ; носил белый кисейный галстух, жабо, маншеты и две золотые английские «луковицы», по одной в каждом кармане жилета. В правой руке он обыкновенно держал эмалированную табатерку со «шпанским» табаком — а левой опирался на трость с серебряным, от долгого употребления гладко вытертым набалдашником. Голосок имел Алексей Сергеич носовой, пискливый — и постоянно улыбался, ласково, но как бы свысока, не без некоторой самодовольной важности. Он и смеялся тоже ласково, тонким, как бисер мелким смехом. Вежлив и приветлив был он до крайности — на старинный екатерининский манер — и двигал руками медленно и округло, тоже по-старинному. По слабости ног он не мог ходить, а перебегал торопливыми шажками с кресла на кресло, в которое садился вдруг — скорее падал — мягко, как подушка.

Как я уже сказал, Алексей Сергеич никуда не выезжал и с соседями знался мало, хоть и любил общество, — ибо словоохотлив был! Правда, общества у него вдоволь водилось и дома: разные Никаноры Никанорычи, Савастеи Савастейчи, Федулычи, Михейчи, всё бедные дворянчики в поношенных казакинах и камзолах, часто с барского плеча, проживали под его кровом, не говоря уже о бедных дворяночках в ситцевых платьях, черных платках внакидку и с гарусными ридикюлями в крепко стиснутых пальцах — разных Авдотиях Савишных, Пелагеях Мироновых и просто Феклушках и Аринках, приютившихся на женской половине. За стол у Алексея Сергеича никогда меньше пятнадцати человек не садилось... Такой он был хлебосол! Между всеми этими приживальщиками особенно выдавались две личности: карлик, по прозвищу Янус, или Дзулицый, датского, а иные утверждали — еврейского происхождения, да сумасшедший князь Л. В противность тогдашним обычаям, карлик этот вовсе не служил потехой для господ и не был шутком; напротив: он постоянно молчал, вид имел озлобленный и суровый, хмурил брови и скрипел зубами, как только обращались к нему с вопросами. Алексей Сергеич звал его также филозофом и даже уважал его; за столом ему всегда первому, после гостей и хозяев, подавали блюда. «Бог его обидел, — говорил Алексей Сергеич, — на то его господня воля; а уж мне-то его не обижать стать». — «Почему же он фило-

зѳ?» — спросил я однажды. (Меня Янус не жаловал; бывало, лишь только я подойду к нему — он тотчас окрысится и проворчит хрипло: «Чужак! не приставай!») «Как же, помилуй бог, не филозѳ? — ответил Алексей Сергеич. — Ты, сударик, посмотри, как он таково хорошо молчит!» — «А почему же он Двулицый?» — «А потому, сударик, что наружу-то у него одно лицо — вот вы, верхогляды, и судите... А другое, настоящее, он скрывает. И то лицо знаю я один — и люблю его за это... Потому: хорошее то лицо. Ты, например, и глядишь, да пичего не видишь... а я и без слов вижу: осуждает он меня за нечто; потому: он строгий! И всегда-то за дело! Сего ты, сударик, не поймешь; но только верь мне, старику!» Настоящей истории Двулицего Януса — откуда он прибыл, как попал к Алексею Сергеичу — никто не ведал; зато история князя Л. была хорошо всем известна. Двдцатилетним юношей, из богатой и знатной фамилии, он приехал в Петербург на службу в гвардейском полку; на первом же куртаге императрица Екатерина его заметила — и, остановившись перед ним да указав на него веером, громко промолвила, обратясь к одному из своих приближенных: «Посмотри, Адам Васильевич, какой красавчик! Настоящая куколка!» Кровь бросилась бедному мальчику в голову: вернувшись домой, он велел заложить коляску — и, надев на себя анненскую ленту, пустился развезжать по городу, словно он и точно в случай попал. «Дави всех, — кричал он кучеру, — кто не посторонится!» Тотчас же всё это было доведено до высочайшего сведения; вышел приказ — объявить его сумасшедшим и отдать на поруки двум его братьям; а те, нимало не медля, отвезли его в деревню и посадили в каменный мешок на цепь. Желая воспользоваться его имением, они не выпустили несчастного даже тогда, когда он опомнился и пришел в себя, — и так и продержали его взаперти, пока он действительно не сошел с ума. Но не впрок пошло им их злодейство: князь Л. пережил своих братьев и, после долгих мытарств, очутился на попечении Алексея Сергеича, которому доводился родственником. Это был толстый, совершенно лысый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами навывкат. Он совсем разучился говорить — он только бурчал что-то непонятное; но отлично пел старинные русские песни, сохранив до глубокой старости серебристую свежесть голоса и во время пения ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нечто вроде яро-

сти — и тогда он делался страшен: становился в угол, к стене лицом — и весь потный да красный, через всю лысину до затылка красный, заливаясь злобным хохотом и топая ногами, повелевал наказывать кого-то — вероятно, братьев. «Бей! — хрипел он, давясь и кашляя от смеха, — секи, не жалей, бей, бей, бей извергов, злодеев моих! Вот так! Вот так!» Накануне своей смерти он очень удивил и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий — и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попросил послать за священником; ибо смерть пришла к нему — он ее видел — и ему надо всех простить и себя обелить. «Как же ты ее видел? — пробормотал изумленный Алексей Сергеич, в первый раз услышав от него связную речь. — Какова она из себя? С косою, что ли?» — «Нет, — отвечал князь Л., — старушка простенькая, в кофте — только на лбу глаз один, а глазу тому и веку нет». И на другой день князь Л. действительно скончался, совершив всё должное и простившись со всеми, вразумительно и умиленно. «Вот так и я умру», — замечал, бывало, Алексей Сергеич. И точно: нечто подобное с ним случилось — о чем после.

А теперь возвратимся к прежнему. С соседями, я уже сказал, Алексей Сергеич не водился; и они его недолюбливали, называли его чудаком, гордецом, пересмешником и даже не признающим властей мартинистом, не понимая, конечно, значения этого последнего слова. До некоторой степени соседи были правы: Алексей Сергеич чуть не семьдесят лет сряду прожил в своем Суходоле, не имея почти никаких сношений с предержажими властями, с начальством и судом. «Суд для разбойника, команда для солдата, — говаривал он, — а я, слава богу, не разбойник и не солдат». Чудаковат был точно Алексей Сергеич, но душа в нем была не из мелких. Порасскажу кое-что о нем.

Доподлинно я никогда не знал, какие были его политические мнения — если только можно применить к нему такое повейшее выражение; но, по-своему, он был аристократ — скорей аристократ, чем барин. Не раз он сожалел о том, что бог не дал ему сына-наследника «в честь роду, в продолжение фамилии». У него в кабинете висело на стене родословное дерево Телегиных, очень ветвистое, со множеством кружков в виде яблоков, в золотой раме. «Мы, Телегины, — говорил он, — род исконный, извечный; сколько нас, Телегиных, ни было, — по прихожим мы не таска-

лись, хребта не гнули, по рундучкам ног не отстаивали, по судам не кормились, жалованного не нашивали, к Москве не тянули, в Питере не кляузничали; сиднями сидели, каждый на своей *чети*, свой человек, на своей земле... гнездари, сударь, домовитые! Я сам хоть и в гвардии служил — да, спасибо, недолго». Алексей Сергенч предпочитал старое время. «Вольнее было тогда, благообразнее, по чести тебе доложу! — а с тысяща восьмьсотого года (почему именно с этого года? — он не объяснял) пошла, братец ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надели себе на голову господа военные какие-то там салтаны из петушинных хвостов — и сами петухам уподобились; шею затянули туго-на́туго... хрипят, глаза таращат — да и как не хрипеть? Надысь ко мне полицейский капрал какой-то наехал: „Я, мол, до вас, ваше благородие... (вишь, чем удивить вздумал!.. я и сам знаю, что рожден благо...) имею до вас дело“. А я ему: „Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротнике расстегни. А то, помилуй бог, чихнешь! Ах, что с тобою будет! Что с тобою будет! Лопнешь ты, как гриб-дождевик... А я отвечай!“ И пьют же они, эти военные господа, — о-го-го! Я им всё больше цимлянское велю подавать; потому — им что цимлянское, что понтак — всё едино; гладко, скоро так у них в горле проходит — где тут различить? А то вот еще: соску стали эту сосать, табак курить. Запахает себе военный человек эту самую соску под усища в губища — поздрями, ртом и даже ушами дым пускает, — и думает, что герой! Вот и зятики мои — хоть один из них и сенатёр, а другой какой-то там куратёр — тож эту соску сосут и за умниц тож себя почитают!..»

Алексей Сергенч терпеть не мог курительного табаку, да вот еще собак, особенно маленьких. «Ну, коли ты француз, держи себе болонку: *ты* бегаешь, *ты* прыгаешь тюды-сюды, и она за тобой, задравши хвост... а нашему-то брату на что она?» Очень он был опрятен и привередлив. Об императрице Екатерине говорил не иначе как с восторгом и возвышенным, несколько книжным слогом: «Полубог был, не человек! Ты, сударик, посмотри только на улыбку сию, — прибавлял он, почтительно указывая на лампиевский портрет, — и сам согласишься: полубог! Я в жизни своей столь счастлив был, что удостоился улыбнуться сию улыбку, и вовек она не изгладится из сердца моего!» И при этом он сообщал анекдоты из жизни Екатерины, каких мне нигде не случалось ни читать, ни слышать.

Вот один из них. Алексей Сергеич не позволял ни малейшего намека на слабости великой царицы. «Да и наконец, — восклицал он, — разве о ней можно так судить, как о прочих людях? Однажды она, во время утреннего туалета, в пудраманте сидя, повелела расчесать себе волосы... И что же? Камерффрау проводит гребнем — а электрические искры так и сыплются! Тогда она подозвала к себе тут же по дежурству находившегося лейб-медика Роджерсона и говорит ему: «Меня, я знаю, за некоторые поступки осуждают: но видишь ты электричество сие? Следовательно, при таковой моей натуре и комплекции — сам ты можешь заключить, ибо ты врач, — что несправедливо меня осуждать, а постичь меня должно!» Неизгладимым остался в памяти Алексея Сергеича следующий случай. Стоял он однажды во внутреннем карауле, во дворце — а было ему всего лет шестнадцать. И вот проходит императрица мимо его — он отдает честь... «а она, — с умилением тут опять восклицал Алексей Сергеич, — улыбнувшись на юность мою и на усердие мое, изволила дать мне ручку свою поцеловать и по щеке потрепать и расспросить: кто я? откуда? какой фамилии? а потом... — Тут голос старика обыкновенно прерывался, — потом приказала моей матушке от своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что так хорошо воспитывает детей своих. И был ли я при сем на небе или на земле — и как и куда она изволила удалиться, в горния ли воспарила, в другие ли покои проследовала... по сие время не знаю!»

Я не раз пытался расспрашивать Алексея Сергеича о тех давних временах, о людях, окружавших императрицу... Но он большей частью уклонялся. «Что о старине толковать-то? — говаривал он... — только себя мучить: что вот, мол, был ты тогда молодцом, а теперь и последних зубов у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина... ну и бог с ней! А что касательно до тех людей — ведь ты, чай, егоза, о случайных людях речь заводишь? — так видал ты, как на воде волдырь вскочит? Пока он цел да держится — какие же на нем цвета играют! И красные, и желтые, и синие — просто сказать надо: радуга или вот алмаз! Только вскорости он лопается — и следа от него нет. Так вот и люди те такие были».

— Ну, а Потемкин? — спросил я однажды.

Алексей Сергеич принял важный вид.

— Потемкин, Григорий Александрович, был муж государственный, богослов, екатерининский воспитанник,

чадо ее, так надо сказать... Но довольно о сем, сударик!

Алексей Сергеич был человек очень набожный — и хотя через силу, но церковь посещал исправно. Суеверия в нем не замечалось; он издевался над приметами, глазом и прочей «нескладицей», однако не любил, когда заяц ему перебежал дорогу, и встреча с попом была ему не совсем приятна. Со всем тем был к духовным лицам очень почтителен и под благословенье подходил и даже руку всякий раз целовал, но неохотно с ними беседовал. «Очень от них дух силён идет, — объяснял он, — я же, грешный, непутем изнежился; волосы у них такие большие да масленные, расчешут их во все стороны — думают, что тем мне уважение доказывают, и громко так между разговором крикают — от робости, что ли, или тоже желают мне тем угодить. Ну да и смертный час напоминают. А я, как-никак, еще жить желаю. Только ты, сударик, этих речей за мной не повторяй; уважай духовный чин — одни дураки его не уважают; и я виноват, что на старости лет вздор горожу».

Учен был Алексей Сергеич на медные деньги — как все тогдашние дворяне; но до некоторой степени сам чтением восполнил этот недостаток. Книги же читал одни русские, конца прошлого века; новейших сочинителей находил пресными и в слогте слабыми... Во время чтения ставился возле него на одноногий круглый столик серебряный жбан с каким-то особенным мятным пенным квасом, от которого приятный запах распространялся по всем комнатам. Сам же он надевал при этом на конец носа большие круглые очки; но в последнее время не столько читал, сколько задумчиво глядел выше оправы очков, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Раз я застал его плачущим с книгою на коленях — что меня очень, признаться, удивило.

Вспомнились ему следующие стишки:

О, всебедный род людской!
Незнаком тебе покой!
Ты лишь оный обретаешь,
Пыль могильну коль глотаешь...
Горек, горек сей покой!
Спи, мертвец!.. Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены неким Гормич-Гормицким, странствующим пиитой, которого Алексей Сергеич при-

ютил было у себя в доме — так как он показался ему человеком деликатным и даже сублильным: носил башмачки с бантиками, говорил на о и, поднимая глаза к небу, часто вздыхал; кроме всех этих достоинств, Гормич-Гормицкий изрядно говорил по-французски, ибо получил воспитание в иезуитском коллeгиуме, — а Алексей Сергеич только «понимал». Но, напившись раз мертвецки пьяным в кабаке, этот самый сублильный Гормицкий оказал буйство непомерное: «вдребезгу» раскровянил Алексей Сергеича камердинера, повара, двух подвернувшихся прачек и даже постороннего столяра — да несколько стекол перебил в окнах, причем кричал неистово: «А вот я им докажу, этим русским тунейдцам, кацапам необтесанным!» И какая в этом тщедушном существе сила проявилась! Едва с ним сладило восемь человек! За самое это буйство Алексей Сергеич велел стихотворца вытолкать вон из дому, посадивши его предварительно «афендромом» в снег — дело было зимою — для протрезвления.

«Да, — говаривал, бывало, Алексей Сергеич, — прошла моя пора; был конь, да изъездился. Вот я и стихотворцев на своем иждивеньи содержал, и картины и книги скупал у евреев, — и гуси были не хуже мухановских, голуби-турманы глинистые настоящие... До всего-то я был охоч! Разве вот собачником никогда не был — потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный был я, неукротимый. Что-бы у Телегина да не первый во всем сорт... да помилуй бог! И конский завод имел на славу. И шли те кони... откуда ты думаешь, сударик? От самых тех знаменитейших заводов царя Ивана Алексеича, брата Петра Великого... верно тебе говорю! Все жеребцы бурые в масле — гривы по́колень, хвосты по́копыть... Львы! И всё то было — да быльем поросло. Суета суетствий и всяческая суета! А впрочем — чего жалеть! Всякому человеку свой предел положон. Выше неба не взлетишь, в воде не проживешь, от земли не уйдешь... поживем еще, как-никак!»

И старик опять улыбался и понюхивал свой шпанский табачок.

Крестьяне любили его; барин был, по их словам, добрый, сердца не срывчивого. Только и они повторяли, что изъезжен, мол, конь. Прежде Алексей Сергеич сам во всё входил — и в поле выезжал, и на мельницу, и на маслобойню — и в амбары, и в крестьянские избы заглядывал; всем знакомы были его беговые дрожки, обитые малиновым плисом и запряженные рослой лошадьё с ши-

рокой проточиной во весь лоб, по прозвищу «Фонарь» — из самого того знаменитого завода; Алексей Сергеич сам ею правил, закрутив концы вожжей на кулаки. А как стукнул ему семидесятый годок — махнул старик на всё рукою и поручил управление именем бурмистру Антипу, которого втайне боялся и звал Микромэгасом (волтеровские воспоминания!), а то и просто — грабителем. «Ну, грабитель, что скажешь? Много в пуньку натаскал?» — говорит он, бывало, с улыбкой глядя в самые глаза грабителю. «Всё вашею милостью», — весело отвечает Антип. «Милость милостью — а только ты смотри у меня, Микромэгас! крестьян, заглазных подданных моих, трогать не смей! Станут они жаловаться... трость-то у меня, видишь, недалеко!» — «Тросточку-то вашу, батюшка Алексей Сергеич, я завсегда хорошо помню», — отвечает Антип-Микромэгас да поглаживает бороду. «То-то, помни!» И барин и бурмистр, оба смеются в лицо друг другу. С дворовыми, вообще с крепостными людьми, с «подданными» (Алексей Сергеич любил это слово) он обходился кротко. «Потому, посуди, племянничек, своего-то ничего нету, разве крест на шее — да и тот медный, — на чужое зárиться не моги... где ж тут быть разуму?» Нечего и говорить, что о так называемом крепостном вопросе в то время никто и не помышлял; не мог он волновать и Алексея Сергеича: он преспокойно владел своими «подданными»; но дурных помещиков осуждал и называл врагами своего звания. Он вообще дворян разделял на три разряда: на путных, «коих маловато»; на распутных, «коих достаточно», и на беспутных, «коими хоть пруд пруди». А если кто из них с подданными крут и притеснителен — тот и перед богом грешен и перед людьми виноват! Да: хорошо жилось дворовым у старика; «заглазным подданным», конечно, хуже, несмотря на трость, которою он грозил Микромэгасу. И сколько их водилось, этих самых дворовых, в его доме! И всё больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, в плечах согбенные, в нанковые длиннополые кафтаны облеченные — с крепким, кислым запахом! А на женской половине только и слышно было, что топот босых ног да шлюпанье юбок. Главного камердинера звали Иринархом; и кликал его всегда Алексей Сергеич протяжным криком: «И-ри-на-а-арх!» Других он звал: «Малый! Малец! Кто там есть подданный!» Колокольчиков он не терпел: что за трактир, помилуй бог! И удивляло меня то, что в какое бы время ни позвал Алексей Сергеич своего камердинера —